

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В.Е. МОРОЗОВ

Вездесущая идентичность: русская политическая наука перед лицом западной гегемонии*

В статье показано, что развитие русской политической науки в значительной степени определяется не внутринаучными факторами, а близкой к тотальной поглощенностью проблемами идентичности.

Ключевые слова: русская политическая наука, национальная идентичность, международные отношения, западная гегемония.

The article shows that development of the Russian political science is substantially defined not by intrascientific factors but by almost total preoccupation with identity problems.

Keywords: the Russian political science, national identity, the international relations, the western hegemony.

Развитие русской политической науки в значительной степени определяется не внутринаучными факторами, а всеобщей и всепроникающей озабоченностью проблемами идентичности, и в первую очередь – национально-государственной идентичности России. Центральными для отечественных обществоведов остаются вопросы принадлежности России к Европе, ее отношения к Западу и прочие проблемы “цивилизационного статуса” русского социума. Не менее значимы вопросы идентичности русского государства: остается ли Россия великой державой и что необходимо сделать, чтобы сохранить или восстановить ее в этом звании? Наконец, немаловажную роль играют проблемы самоопределения русской науки: до какой степени оправданы “заимствования” западных теорий и понятий? Должны ли русские ученые развивать национальные научные школы и заботиться о сохранении национальной специфики русской науки?

Автор отдает себе отчет в том, что обозначение описанной выше проблематики как вненаучной условно и может быть с достаточным основанием оспорено. Исследования национально-государственной идентичности интенсивно развиваются во всем

* В основу статьи положено сообщение, написанное для форума по проблемам изучения международных отношений в Центральной и Восточной Европе журнала “Journal of International Relations and Development” (2009, № 2); исходный текст был существенно расширен и переработан. Автор благодарит Эстонский научный фонд за финансовую поддержку (грант № ETF8295).

мире, а вопросы дисциплинарной рефлексии, в том числе и осмысления роли национального фактора в развитии той или иной научной отрасли, – совершенно легитимная и, более того, необходимая сфера научных занятий. Мне представляется, однако, что названная проблематика в российском случае гипертрофирована до такой степени, что вытесняет все прочие формы научного поиска. Более того, проблемы самоопределения по отношению к Европе и Западу в России обуславливают не только тематику исследований, но и структуру теоретического поля политологии, и в особенности – международных отношений. Фундаментальные различия между позитивистами и конструктивистами и прочие теоретические разногласия реинтерпретируются через призму противопоставления аутентичного и глобального, что не может не влиять на характер и продуктивность теоретических дискуссий.

Несмотря на тематическое многообразие отечественной политологической литературы, для огромного большинства текстов характерно стремление однозначно определить российскую национальную идентичность, установить ее позитивное содержание и тем самым провести границы между внутренним и внешним, патриотическим и антинациональным. Я постараюсь показать преимущественно на примере наиболее близкой мне сферы международных исследований, что тем самым наука берет на себя решение политических задач. При этом я опираюсь на тринадцатилетний опыт преподавания в одном из ведущих российских вузов, а также на материал, накопленный мною за семь лет работы над обзорами российских обществоведческих изданий, которые я регулярно пишу для журнала “Неприкосновенный запас”.

Я попытаюсь продемонстрировать, как неспособность признать фундаментально политический характер проблемы национальной идентичности ведет к тому, что место научной дискуссии занимает крайне политизированное противостояние идеологических доктрин¹. Повсеместная озабоченность идентичностью возникла не на пустом месте: она представляет собой ответную реакцию на действительно существующую западную гегемонию в мировой политике и экономике, которая, вне всякого сомнения, оказывает влияние и на структуру мирового научного сообщества. Вместе с тем призывы “создать собственную национальную теорию” едва ли могут быть признаны адекватным ответом на сложившуюся ситуацию, поскольку по существу ведут к воспроизводству глобального неравенства и дальнейшей изоляции российского академического сообщества. Критическое переосмысление глобальных реалий невозможно без учета опыта, накопленного мировой наукой. Задача состоит в том, чтобы понять: опыт этот отнюдь не сводится к сравнению периферийных “исключений” с западной нормой, или, говоря словами известного критика западного логоцентризма Х. Бабы, в том, чтобы провести “различие между институциональной историей (западной) критической теории и способностью ее концептуального аппарата порождать перемены и инновации” [Bhabha, 1994, p. 31]. В конечном итоге, ключевой вопрос, который стоит как перед российской, так и перед мировой наукой, – это вопрос об универсальности разума и о его роли в осмыслении действительно весьма разнообразного опыта различных локальных сообществ.

Подходит ли западная теория для России?

В начале 2000 г. А. Богатуров опубликовал статью, положившую начало весьма плодотворной дискуссии о проблемах российской науки. В ней он констатировал провал постсоветской политической науки. По мнению Богатурова, российская наука оказалась “способна лишь осваивать чужой опыт, изучение которого превратилось в самоцель политологических штудий. В столичных и провинциальных центрах науки и образования оказывается престижнее, легче и материально выгоднее пересказывать западные книги и заставлять студентов заучивать их, нежели биться над осмыслением

¹ См. об этом также публиковавшиеся ранее в нашем журнале статьи [Романенко, 1997; 2004] (Прим. ред.).

живого материала”. “Парадигма освоения”, писал Богатуров, увела исследователей в сторону от действительно насущной задачи “изучения реальности во всех ее противоречиях и созданию собственной теории, которая перестала бы видеть в местных особенностях, не вписываемых в западные схемы, отклонения и патологию” [Богатуров, 2000, с. 200, 201].

Статья Богатурова вполне предсказуемо вызвала оживленную полемику (см. [Кустарев, 2001; Пантин, 2000; Радаев, 2000; Филиппов, 2000; Чешков, 2000]), в ходе которой отчетливо проявилась одна из главных трудностей, которые российская политическая наука не слишком успешно пытается преодолеть со времен краха советской системы. Неразрешимая, принципиально неопределимая позиция России по отношению к Современности [Капустин, 1998; Kapustin, 2003] ставит общество в целом перед лицом политического выбора, который невозможно сделать раз и навсегда и который именно в силу своей принципиальной открытости задает основное содержание российского политического процесса. Этот выбор состоит в необходимости объяснения особенности России, ее отличия от западной “нормы”. Европейские нормы, традиции и практики стали восприниматься европейцами как общечеловеческие в эпоху Просвещения, хотя, безусловно, просвещенский рационализм уходит корнями в универсализм и прозелитизм средневекового христианства. В дальнейшем западная норма закрепились в качестве универсальной благодаря глобальному господству европейской цивилизации на протяжении всей эпохи Нового времени (см. [Саид, 2006; Вулф, 2003]). Однако это господство и, соответственно, признание западного нормативного порядка никогда не было абсолютным – скорее, его следует описывать в терминах гегемонии [Laclau, Mouffe, 1985], то есть ситуации, когда господствующая роль мирового центра одновременно и признается периферией (европейская норма признается в качестве универсальной), и оспаривается (предлагаются различные альтернативные конфигурации нормативного порядка) (подробнее см. [Морозов, 2009^a; 2009^b]).

В российском контексте, как и в большинстве других полупериферийных ситуаций, рационализация отличия собственной реальности от западной нормы может состоять либо в присвоении России статуса отсталой страны, либо “альтернативной Современности”, либо, наконец, страны, фундаментально отличной от Запада, находящейся за пределами Современности, если последняя определяется через западные нормы и институты. Существует опасная позитивистская иллюзия, что этот выбор может быть сделан “на научной основе”, для чего нужно “всего лишь” создать адекватную теорию социально-политического развития России. Хорошо это или плохо, но в реальной жизни всегда бывает наоборот: выбор “адекватной” теории предопределен политическим ответом на вопрос о позиции России по отношению к Западу.

Одна из причин, по которой статья Богатурова вызвала столько споров, состояла в том, что она, намеренно или нет, построена на двух взаимоисключающих посылах. С одной стороны, автор прямо настаивает на “единстве мировой науки и наличии общих закономерностей развития” [Богатуров, 2000, с. 199], а с другой – его призыв к созданию “собственной теории” для объяснения российской специфики можно было понять как заявление о том, что западная теория для России не подходит в принципе. Именно так этот тезис и поняли многие участники дискуссии, и как раз эта готовность оценивать значимость теории с точки зрения не ее содержания, а ее географического происхождения и демонстрирует, насколько проблема идентичности – как России, так и российской политической науки – нависает над всем научным полем, насколько она доминирует, задавая ориентиры для всех остальных разработок.

Полярная структура российской дискуссии

Рассмотрим структуру российского дисциплинарного поля на примере международных отношений (МО). Основные теоретические школы и водоразделы в науке о МО хорошо известны: сегодня ее развитие определяют споры между рационалистами и конструктивистами, а внутри рационалистической парадигмы – между (нео)реа-

листами и (нео)либералами (см. [Katzenstein, Keohane, Krasner, 1998; Brown, Ainley, 2009]). В России же научная дискуссия структурирована вокруг политической оппозиции между двумя внешнеполитическими идеологиями – атлантизмом и евразийством. Эта знаменитая бинарная классификация, предложенная С. Станкевичем в первый год существования постсоветской России [Станкевич, 1992], восходит, разумеется, к противостоянию западников и славянофилов в XIX в. Она неизменно воспроизводится в литературе и задает координаты профессиональной дискуссии, несмотря на то, что постоянно подвергается совершенно оправданной критике. Как ни парадоксально, есть все основания усомниться даже в том, что эта оппозиция адекватно описывает поле политической борьбы как таковое. В своем анализе раннего постсоветского политического дискурса шведский исследователь Ю. Матс показал, что само существование “хоть сколько-нибудь последовательной проатлантической школы или позиции” достоверно показать не удастся. Атлантизм был сконструирован его противниками, включая самого Станкевича, в качестве удобного воображаемого оппонента, своего рода “мальчика для битья” [Matz, 2001, p. 128, 139–143]. Ни на одном из этапов эволюции постсоветской России он не был ни единственной, ни даже главной идеологией, на основе которой принимались бы политические решения. Тем не менее его воображаемое всемогущество было критически важно для его оппонентов, которые на этом основании утверждали о якобы имеющей место угрозе российской национальной идентичности со стороны враждебных внешних сил. Такое бинарное политическое противостояние практически без изменений транслировалось и продолжает транслироваться из политического поля в научное. Это характерно не только для геополитических текстов, которые уже в силу своих исходных посылок склонны видеть мировую политику в манихейском духе, но и для “классических” подходов к международной теории.

Этот факт отмечает, например, П. Цыганков в своем анализе либерального подхода в российской теории международных отношений. Вместе с тем он и сам определяет предмет своего исследования не с теоретической, а с политической точки зрения – фактически, любые прозападные концепции предстают в его описании как принадлежащие к либеральной теории МО. Безусловно, либеральные теоретические посылки (признание решающего значения международных институтов, взаимозависимости между государствами, негосударственных акторов, глобализации) чаще всего приводят к политическим выводам, которые в российской ситуации можно определить как прозападные. Тем не менее эти два аспекта самоопределения исследователей необходимо разделять, поскольку в противном случае теоретическую рефлексию полностью вытесняют политические споры. Так происходит и в работе Цыганкова: он критикует либералов за якобы выдвигаемый ими тезис “о необходимости... отказа России от части своего суверенитета и территориальности” и за недооценку угрозы “реального распада российской государственности” в результате встраивания в глобализационные процессы [Цыганков, 2003, с. 157, 169–170].

Вообще говоря, привычка оценивать российскую дискуссию о международных отношениях с политических позиций характерна и для части западной литературы о России, где она поддерживается также публикациями российских авторов на английском языке [Tsygankov, 2003; Tsygankov, Tsygankov, 2004]. Конечно, попытки выйти за эти рамки также делаются, но чаще в форме дополнения классификации, нежели ее радикального пересмотра. Так, А. Сергунин принимает деление на атлантистов и западников применительно к началу постсоветского периода, однако утверждает, что к концу 1990-х гг. оба этих лагеря были вытеснены “державниками”, которые по преимуществу основывались на реалистической парадигме [Sergounin, 2000]. Похожий тезис высказывает А. Цыганков: по его мнению, в эпоху президента В. Путина на смену внешнеполитическим дебатам предыдущей эпохи пришел “великодержавный прагматизм” [Tsygankov, 2006, p. 127–166]. Такой вывод, однако, слишком уж буквально совпадает с официальным описанием российской внешней политики как прагматичной, основанной на здравом смысле, а не на идеологии (см. [Лавров, 2007; 2008]).

Не следует забывать, что, как и всякое использование риторики здравого смысла, “великодержавный прагматизм” преподносит под видом нейтральности, объективности и научности идеологически мотивированное политическое решение [Мартьянов, 2007]. В политике не бывает нейтральных решений, поскольку в ситуации, когда решение действительно самоочевидно, нет нужды в политическом вмешательстве. Принимая самописание российской внешней политики как прагматической, российские исследователи в очередной раз ставят научную дискуссию в зависимость от политической.

Перед лицом западной гегемонии

Политическая позиция, которую “великодержавный прагматизм” предлагает в качестве самоочевидной, состоит в позиционировании России в качестве альтернативной Современности. В идеологическом пространстве эта позиция представлена дискурсом “суверенной демократии” (конечно, сам этот термин сегодня используется редко, однако соответствующие смысловые структуры продолжают воспроизводиться с завидным постоянством). В данном случае мы имеем дело с попыткой противопоставить одностороннему преобладанию Запада тезис о суверенном праве незападных сообществ самостоятельно интерпретировать универсальные ценности, такие как демократия [Mogozov, 2008]. Возможность некоторого отставания России от Запада на пути реализации универсальных ценностей в данном случае тоже признается, однако, в отличие от западного дискурса, это отставание деполитизируется, трактуется как банальный житейский факт. Более того, часто приходится слышать аргумент о том, что любая демократия несовершенна – а значит, и Россия, при всех ее особенностях, имеет право называть себя демократическим государством². В то же время этот дискурс все же признает значимость европейской традиции, идущей от эпохи Просвещения: Россия в нем предстает как суверенная, но все же демократия, то есть как альтернативная версия все той же европейской Современности. Понятие идентичности играет ключевую роль в “приспособлении” универсалистских категорий Просвещения к задачам защиты суверенной автономии государства. Например, идея прав человека дополняется “правом на идентичность”, из которого следует “и право россиянина на ощущение своей принадлежности к большому, единому и прочному государству” [Торкунов, 2007, с. 37]. Такая интерпретация остается преобладающей перед лицом не только универсалистской критики с Запада, но и националистической оппозиции внутри страны [Mogozov, 2008, р. 164–167].

Точно так же, как российское политическое руководство на мировой политической арене постоянно вынуждено иметь дело с западной гегемонией (имеющей, подчеркну еще раз, не только силовое или экономическое, но и едва ли не более значимое нормативное измерение), российские ученые-международники (равно как и их коллеги в других социальных науках) должны считаться с очевидно доминирующим статусом англоязычного академического сообщества в мировой науке. Как российским политикам, так и ученым *приходится* иметь дело с Западом, потому что даже в тех случаях, когда они пытаются его игнорировать, Запад все равно стучится к ним в дверь в облике расширяющегося блока НАТО, универсальных прав человека или новых критериев оценки научного труда, опирающихся на индексы цитирования в англоязычных журналах. За время, прошедшее с момента публикации статьи Богатурова, такого рода давление на научное сообщество только усилилось вследствие реформ российских науки и образования, ориентированных на “мировые” стандарты и вызывающих в обществе оживленную полемику (см. [Покровский, 2005; Панфилова, Ашин, 2006]).

Иными словами, идентичность превратилась в центральную проблему российской науки о международных отношениях не вследствие мифического преобладания ли-

² Типичными примерами подобной дискурсивной практики могут служить недавние выступления руководителей российского государства [Медведев, 2010; Путин]. Их интерпретацию см., в частности, в [Mogozov, 2010].

беральной школы внутри России, а как результат реально существующей гегемонии Запада в мировых делах. Опасаясь двойной маргинализации – вытеснения страны на периферию мирового порядка и своей собственной изоляции в рамках мирового научного сообщества, – российские исследователи тем не менее склонны игнорировать критический потенциал, которым обладают многие направления современной социальной теории, успешно развивающиеся не только в Европе и США, но и, например, в Латинской Америке. Вместо этого ситуация в мировой политике и экономике напрямую проецируется на научную сферу: любая “западная” теория заранее воспринимается как инструмент западной гегемонии.

При этом отечественные авторы часто склонны переоценивать научную значимость публикаций влиятельных западных экспертов, в которых доминирующая позиция Запада обосновывается ссылками на либеральные ценности. Как отмечает А. Астров, “требуется изрядная доля предвзятости для того, чтобы годами создавать образ западной теории международных отношений, основанный почти исключительно на трудах политических активистов типа Хантингтона, Фукуямы или Бжезинского, не занимающих сколько-нибудь заметного места в каноне западных университетов” [Астров, 2005]. Один из наиболее ярких примеров такого рода – статья А. Цыганкова с анализом “восприятия западных теорий в постсоветской России”. Как можно было бы ожидать, судя по названию, статья должна содержать обзор широкого теоретического спектра от неореализма до конструктивизма и постструктурализма, однако автор ограничил список “западных теоретиков” двумя именами – Ф. Фукуямы и С. Хантингтона [Цыганков, 2005]; (см. также [Ходаковский, 2008]). Получается, что российские исследователи во многих случаях просто не готовы идти в освоении “западных” теорий дальше идеологических клише, удобных тем, что позволяют до бесконечности воспроизводить одномерную трактовку мировой политики как игры с нулевой суммой, в которой Россия вместе с другими незападными цивилизациями противостоит империалистической экспансии Запада.

Реакцией на такую воображаемую одномерность академического поля становится постулирование, в духе европейского же романтизма, непреодолимых качественных различий между Россией и Западом. Так, А. Виноградов призывает российских исследователей освободиться “от мировоззренческих стереотипов западной науки” [Виноградов, 2006, с. 4–5], после чего разговор немедленно переводится с действительно актуальной проблемы поиска понятий, которые адекватно отражали бы российскую специфику, на тему принципиально разных “государственно-политических кодов Востока и Запада”. В этом и других подобных текстах водораздел между Западом и не-Западом приобретает онтологический приоритет по отношению к любой другой границе, существующей в социальной или культурной реальности, в том числе и по отношению к различиям между философскими парадигмами или научными школами. Соответственно, идея особого “русского мышления, воспитанного на патерналистских традициях”, может использоваться как аргумент и в научной дискуссии, и в политических целях, например, для обоснования наличия в России “собственной, национально укорененной модели демократии” [Торкунов, 2007, с. 36], которая противостоит столь же гомогенной и органичной “западной модели” [Соловьев, 2010] в рамках неизменно популярного цивилизационного подхода (см. [Зевелев, 2009; Лексин, 2009; Якунин, 2010]). В такой картине мира рациональность обусловлена принадлежностью к определенной культуре или цивилизации, а политическая реальность выступает производной от “национального характера” [Дмитриева, 2001], «государственно-политических “кодов»», “феноменологии Запада и не-Запада” [Виноградов, 2006, с. 4], “цивилизационного генотипа” [Пантин, 2000, с. 140] или “политического менталитета” [Бельчук, 2008, с. 37].

Доводя эту линию рассуждений до логического завершения, некоторые исследователи фактически отрицают возможность осмысления современной глобальной реальности с универсальных рационалистических позиций. Именно к этому в конечном итоге ведут призывы “развивать собственную науку, а не пристраиваться в хвост

иноземной” [Панфилова, 2007, с. 47]. Так, А. и П. Цыганковы настаивают на необходимости мобилизовать “российскую мысль” и “собственно российскую интеллектуальную энергию” “в поисках национального ответа” на засилье западных теорий. Призывая к интеграции российской науки о международных отношениях в мировую, они тем не менее подчеркивают, что необходимо стремиться к созданию “глобального многокультурного сообщества международников”, основанного на осознании того, “что знание не является культурно универсальным и воспринимается по-разному в различных культурных сообществах” [Цыганков, Цыганков, 2004, с. 107, 109, 113]. В другой работе, критикуя (огрубно и поэтому, на мой взгляд, не вполне справедливо) американских ученых за их неспособность отвлечься от собственных национальных интересов и отвергнуть представление о культурном превосходстве США, Цыганковы фактически предлагают своим российским коллегам также отказаться от идеи универсальности научного знания и “развивать свой собственный взгляд на мир, отвечающий интересам и ценностям данной конкретной страны” [Цыганков, Цыганков, 2005, с. 147].

Существуют примеры и гораздо более радикальной постановки вопроса о применимости западных теорий к российской действительности, отрицающие всякую возможность “интеграции”. Так, по мнению Д. Замятина, западные концепции, хотя и могут быть в чем-то полезны для понимания России, задают ложную точку отсчета, предлагая западный же опыт в качестве единственной нормы. Поэтому нужно отбросить западные подходы и построить новую науку о России и Евразии, в центре которой должно находиться понятие геократии – неразрывного единства власти и пространства [Замятин, 2009; 2010; 2000].

Характерно, что подобные метатеоретические основания делают собственно теорию как таковую практически неуязвимой для любой критики. В самом деле, призывы соотнести авторскую онтологию с принятыми в других теориях, показать хотя бы в самом общем виде структуру причинно-следственных связей, иерархию взаимообусловленности между используемыми понятиями предполагают перевод концептуального аппарата на язык той или иной устоявшейся дисциплины. Соответственно, подобная критика исходит все из тех же “западноцентричных” моделей и, следовательно, может быть легко отмечена как навязывающая чуждые стандарты. Осуждение западного моногизма, таким образом, является не только отправной точкой, но и конечным результатом интеллектуального поиска, одновременно и сырьем, и продуктом научного творчества. Вопрос о ценности такого продукта для общества или хотя бы для научного сообщества как такового остается открытым.

Универсальность разума, многообразие опыта

Очевидно, однако, что процесс, в котором постановка вопроса предопределяет результат, не может считаться научным в полном смысле слова. Более того, будучи замкнутой сама на себя, интеллектуальная процедура остается совершенно слепой к своим идеологическим предпосылкам. Критикуя западных исследователей за предвзятость, отечественные авторы часто сами не способны поддерживать критическую дистанцию между собственной исследовательской позицией и изучаемым феноменом. Зациклившись на теме идентичности, российская наука о международных отношениях не способна помыслить иных альтернатив, кроме прозападного атлантизма и националистического изоляционизма. Обе стороны этого спора (постольку, поскольку западнический дискурс вообще существует) заняты поиском теоретических аргументов и эмпирических свидетельств, которые показали бы правильность их собственного видения национальных интересов России. Но определение национального интереса – задача политического, а не научного процесса [Капустин, 1996]. Подчинение научных целей политическим приводит к тому, что все академическое поле целиком оказывается структурировано политическими оппозициями, что очевидно в выборе исследовательских тем, методологической односторонности и откровенной ангажиро-

ванности. «Российские теоретики, – пишет Астров, – озабочены почти исключительно целостностью России и ее способностью отстаивать свои “национальные интересы”» [Астров, 2005]. Стремление дать научный ответ на вопросы, имеющие принципиально политический характер, разлагает науку, политизируя ее изнутри.

Разумеется, науку невозможно полностью отделить от политики, и национальная специфика России, как и любой другой страны, может и должна служить предметом научных размышлений. Как указывает А. Филиппов, убежденность Богатурова “в единстве мировой науки и наличии общих закономерностей развития” [Богатуров, 2000, с. 199] вполне совместима с интересом к особенностям локальных общественных процессов – при условии, что мировая наука понимается не как однообразный набор теорий и концептов, а как единство коммуникации, исходящее из посылки универсальности разума и основанное на общих правилах, признаваемых всеми членами академического сообщества [Филиппов, 2000].

Поэтому необходимо все-таки продолжать разговор на уровне метатеории, обращаясь к ключевым вопросам философии науки. Исходим ли мы по-прежнему из посылки, что человеческая рациональность едина и имеет “внецивилизационный” характер? Если да, то какие именно социальные механизмы мешают западной науке глубже понять происходящее в России? Следует ли нам замыкаться в рамках доморощенных метатеоретических построений или нужно критиковать ограниченность западноцентричного мировоззрения в рамках открытого публичного пространства мировой науки? Первый путь, конечно, проще, но второй, на мой взгляд, явно продуктивнее.

Разумеется, в любой науке могут существовать национальные школы (хотя для международных отношений это характерно в наименьшей степени); да и сам по себе тезис о социально-культурной обусловленности научного знания, о науке как социальном институте, участвующем в процессе воспроизводства культуры, *в том числе* и национальной, давно уже стал общепризнанным. Но возможность дробления истины по национальному признаку означает, по существу, подрыв самой идеи науки как универсального, верифицируемого знания.

Кроме того, необходимо подчеркнуть несостоятельность ссылок на особенности национальной культуры, самосознания, менталитета и т. п. в качестве объяснения локальной специфики политических процессов – например, относительной неудачи демократизации в России. Разумеется, культурные различия имеют политическое значение, но они отнюдь не предопределяют пути развития стран и народов. Как указывают А. и П. Лукины, и нацизм, и нынешнюю германскую демократию можно с равной степенью убедительности вывести из немецкой культурной традиции; особенности конфуцианской культуры с одинаковым успехом “объясняют” и былую отсталость стран этого культурного ареала, и их последующий технологический прорыв [Лукин, Лукин, 2009, № 2, с. 161]. Точно так же и “две наиболее распространенные... трактовки российской политической культуры – концепция уникальной авторитарности России и концепция постоянной борьбы демократической (либеральной) и авторитарной тенденций” основаны на вольном обращении с историческим материалом [Лукин, Лукин, 2009, № 1, с. 56]. К сожалению, критический пафос работы направлен главным образом против западных интерпретаторов российской культуры и истории; при этом из поля зрения исследователей выпадает тот факт, что и российская дискуссия на протяжении столетий воспроизводит ровно те же представления о соотношении российской и западной социально-политической реальности.

Это приводит нас к более общему вопросу. Что есть современная наука как способ коммуникации и как некоторое множество конкретных теорий? Является она в основном продуктом одной цивилизации – западной? Ставит ли этот факт под вопрос глобальную значимость научной коммуникации и состоятельность ее результатов? С одной стороны, при описании тех или иных идей или типов рациональности как “западных” необходимо соблюдать осторожность, поскольку все они так или иначе имеют некоторые истоки и за пределами Запада. Это характерно даже для такой, казалось бы, стопроцентно англосаксонской дисциплины, как международные отношения

[Bilgin, 2008]. Более того, чисто географическое понятие Запада в рассуждениях о научной рациональности просто не работает, поскольку всегда можно показать, что все цивилизации заимствуют друг у друга и влияют друг на друга до такой степени, что сама идея “поиска корней” в конце концов оказывается за гранью абсурда. Хорошо известно, например, что российские почвенники и западники изначально принадлежали к одной и той же модернистской европейской традиции, а их полемика отражала и в каком-то смысле продолжает отражать общеевропейские идеологические оппозиции [Walicky, 1975].

С другой стороны, если отказаться от сугубо географического определения Запада, перед нами могут открыться качественно иные перспективы. В современной глобальной политике и культуре Запад – не столько место, сколько политическое сообщество, чья идентичность не поддается окончательной фиксации, чьи границы постоянно оспариваются и чье существование решающим образом зависит от Других, противопоставляющих себя западному монологу. Такой подход не требует содержательного определения “сущности” Запада. Более того, он едва ли совместим с подобным рода наивным эссенциализмом, пытающимся закрепить за идентичностями раз и навсегда зафиксированное место. Как ни парадоксально, однако, вопрос о соотношении западного и универсального в мировой науке подталкивает именно к такому содержательному ответу. Если попытаться определить, что же именно делает западную науку универсальной, в качестве ответа необходимо будет указать на принцип систематического отказа в познании мира от априорных оснований, будь то Бог, Природа или национальный дух. Современная наука исходит из того, что человеческое знание относительно, неполно и постоянно должно проверяться опытом, что исходные посылы любой теории подлежат постоянному критическому переосмыслению, что любой конкретный общественный порядок основывается на конституирующем этико-политическом решении, не имеющем иных оснований, кроме самого этого решения как такового.

Именно это западное наследие еще только предстоит освоить российской науке, и именно на этом пути следует искать возможность построения альтернативных теорий, которые были бы способны адекватно осмыслить уникальный опыт России. При таком взгляде на вещи становится очевидным, что нормы, которые западная гегемония пытается утвердить в качестве универсальных, историчны и поэтому подлежат постоянному критическому переосмыслению. В то же время и граница между Россией и Западом также не абсолютна – это не следствие биологических различий между русскими и европейцами и не продукт метафизического “русского духа”, а результат многовековых взаимодействий между различными локальными сообществами, в ходе которых отдельные различия политизировались, тогда как другие воспринимались как тривиальные. Уникальность российского опыта – не в том, что “здесь все по-другому”, она заключена в совершенно конкретных аспектах российской истории, связанных прежде всего с прошлым России как полупериферийной континентальной империи и как “площадки” для жестокого, но очень поучительного советского эксперимента.

Соответственно, и разговор о применимости “западных” теорий к России не имеет смысла, потому что не бывает западных теорий “вообще”. Критикуя своих западных коллег, российские авторы чаще всего имеют в виду неолиберальную идею “конца истории” и вытекающие из нее довольно примитивные транзитологические подходы. Эта гегельянская идеология действительно на короткое время, в конце 80-х–начале 90-х гг. прошлого века, восторжествовала в западноевропейской и американской науке, однако к ней ни в коем случае не сводится все многообразие современной социальной теории. Более того, научный поиск российских исследователей не должен быть ограничен рамками уже достигнутого за пределами России. Обязательное условие достоверности научного знания состоит в его признании мировым научным сообществом. Если исходить из принципа универсальной рациональности, без которого невозможна наука как таковая, это признание никак не может ограничиваться национальными рамками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Астров А.* Обходной маневр в теории международных отношений: от реализма к традиционализму // *Неприкосновенный запас*. 2005. № 5.
- Бельчук А.* Россия: восток Запада или запад Востока? // *Свободная мысль*. 2008. № 4.
- Богатуров А.* Десять лет парадигмы освоения // *Pro et contra*. 2000. Т. 5. № 1.
- Виноградов А.* Государственно-политические “коды” Востока и Запада // *Международные процессы*. 2006. Т. 4. № 1.
- Вулф Л.* Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.
- Дмитриева Т.* Русский характер и политика // *Международная жизнь*. 2001. № 9–10.
- Замятин Д.* Геократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // *Полис*. 2009. № 1.
- Замятин Д.Н.* Гуманитарная география: предмет изучения и основные направления развития // *Общественные науки и современность*. 2010. № 4.
- Замятин Д.Н.* Образ страны: структура и динамика // *Общественные науки и современность*. 2000. № 1.
- Зевелев И.* Будущее России: нация или цивилизация? // *Россия в глобальной политике*. 2009. № 5.
- Капустин Б.* “Национальный интерес” как консервативная утопия // *Свободная мысль*. 1996. № 3.
- Капустин Б.* Современность как предмет политической теории. М., 1998.
- Кустарев А.* Запад и русская мысль // *Pro et contra*. 2001. № 3.
- Лавров С.* Настоящее и будущее глобальной политики // *Россия в глобальной политике*. 2007. Т. 5. № 2.
- Лавров С.* Россия и мир в XXI веке // *Россия в глобальной политике*. 2008. № 4.
- Лексин В.* Цивилизационный кризис и его российские последствия // *Общественные науки и современность*. 2009. № 6.
- Лукин А., Лукин П.* Мифы о российской политической культуре и российская история // *Полис*. 2009. № 1, 2.
- Мартыанов В.* Политика в пределах здравого смысла // *Свободная мысль*. 2007. № 10.
- Медведев Д.* Выступление на пленарном заседании мирового политического форума “Стандарты демократии и критерии эффективности”. Ярославль, 10 сентября 2010 г. (<http://kremlin.ru/transcripts/8887>).
- Морозов В.* Запад без кавычек: глобальная гегемония и российский вызов // *Свободная мысль*. 2009^a. № 11.
- Морозов В.* Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009^b.
- Пантин В.* Сможет ли российская наука понять, что происходит в России? // *Pro et contra*. 2000. Т. 5. № 2.
- Панфилова Т.* Проблемы осмысления места России в мире // *Космополис*. 2007. № 3.
- Панфилова Т., Ашин Г.* Перспективы высшего образования в России: реформирование или ликвидация // *Общественные науки и современность*. 2006. № 6.
- Покровский Н.* Побочный продукт глобализации: университеты перед лицом радикальных изменений // *Общественные науки и современность*. 2005. № 4.
- Путин В.* Интервью агентству “Франс Пресс” и телеканалу “Франс 2” (<http://premier.gov.ru/events/news/10948/>).
- Радаев В.* Есть ли шанс создать российскую национальную теорию в социальных науках? // *Pro et contra*. 2000. № 3.
- Романенко С.А.* История и историки в межэтнических конфликтах (Югославия конца 80-х–начала 90-х годов) // *Общественные науки и современность*. 1997. № 5.
- Романенко С.А.* Югославский мир и российская политическая элита: консенсус или расщепленное историческое сознание? // *Общественные науки и современность*. 2004. № 4.
- Сауд Э.* Ориентализм: западные концепции Востока. СПб., 2006.
- Соловьев А.* Цивилизационное пространство государственности (противоречия западной и отечественной моделей) // *Общественные науки и современность*. 2010. № 3.
- Станкевич С.* Держава в поисках себя // *Независимая газета*. 28 марта 1992.
- Торкунов А.* Европейский выбор и национальный интерес // *Космополис*. 2007. № 3.
- Филиппов А.* Познание действительности и теоретическая коммуникация // *Pro et contra*. 2000. № 4.

- Ходаковский Е.* Кризис государственности как фактор глобальной безопасности // Космополис. 2008. № 1.
- Цыганков А.* Восприятие западных теорий в постсоветской России // Российская наука международных отношений: новые направления. М., 2005.
- Цыганков П.* Либерализм в российской теории международных отношений // Космополис. 2003. № 4.
- Цыганков А., Цыганков П.* Глобальный мир и будущее российской теории международных отношений // Космополис. 2004. № 3.
- Цыганков А., Цыганков П.* За глобализацию с американским лицом: современная теория международных отношений в США // Космополис. 2005. № 4.
- Чешиков М.* Болезнь серьезнее, чем кажется // Pro et contra. 2000. № 3.
- Якунин В.* Глобализация и диалог цивилизаций // Свободная мысль. 2010. № 3.
- Bhabha H.* The Location of Culture. London–New York, 1994.
- Bilgin P.* Thinking Past “Western” IR? // Third World Quarterly. 2008. No. 1.
- Brown C., Ainley K.* Understanding International Relations. Basingstoke, 2009.
- Kapustin B.* Modernity’s Failure/Post-Modernity’s Predicament: the Case of Russia // Critical Horizons. 2003. No. 1.
- Katzenstein P., Keohane R. O., Krasner S. D.* International Organization and the Study of World Politics // International Organization. 1998. No. 4.
- Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and Socialist Strategy. London, 1985.
- Matz J.* Constructing a Post-Soviet International Political Reality. Russian Foreign Policy Towards Newly Independent States 1990–1995. Uppsala, 2001.
- Morozov V.* Modernizing Sovereign Democracy? Technocratic Neoliberalism and Russia’s Doctrine of Multipolarity // Estonian Foreign Policy Yearbook 2010. Tallinn, 2010.
- Morozov V.* Sovereignty and Democracy in Contemporary Russia: a Modern Subject Faces the Post-Modern World // Journal of International Relations and Development. 2008. No. 2.
- Sergounin A.* Russian Post-communist Foreign Policy Thinking at the Cross-Roads: Changing Paradigms // Journal of International Relations and Development. 2000. No. 3.
- Tsygankov A.* Mastering Space in Eurasia: Russia’s Geopolitical Thinking after the Soviet Break-up // Communist and Post-Communist Studies. 2003. No. 1.
- Tsygankov A.* Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham, 2006.
- Tsygankov A., Tsygankov P.* New Directions in Russian International Studies: Pluralization, Westernization, and Isolationism // Communist and Post-communist Studies. 2004. No. 1.
- Walicky A.* The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought. Oxford, 1975.

© В. Морозов, 2011